

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

9 класс

1 тур

Комплексный анализ прозаического произведения

В.Ф. Одоевский

Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту

— Как, сударыня! вы уже хотите оставить нас?

С позволения вашего попровожу вас.

— Нет, не хочу, чтоб такой учтивый господин
потрудился для меня.

— Извольте шутить, сударыня.

*Manuel pour la conversation par madame
de Jenlis, p. 375¹, Русское отделение*

Однажды в Петербурге было солнце; по Невскому проспекту шла целая толпа девушек; их было одиннадцать, ни больше ни меньше, и одна другой лучше; да три маменьки, про которых, к несчастью, нельзя было сказать того же. Хорошенькие головки вертелись, ножки топали о гладкий гранит, но им всем было очень скучно: они уж друг друга пересмотрели, давно друг с другом обо всем переговорили, давно друг друга пересмеяли и смертельно друг другу надоели; но всё-таки держались рука за руку и, не отставая друг от дружки, шли монастырь монастырём; таков уже у нас обычай: девушка умрёт от скуки, а не даст своей руки мужчине, если он не имеет счастья быть ей братом, дядюшкой или ещё более завидного счастья — восьмидесяти лет от роду; ибо «что скажут маменьки?». Уж эти мне маменьки! когда-нибудь доберусь я до них! я выведу на свежую воду их старинные проказы! я разберу их устав благочиния, я докажу им, что он не природой написан, не умом скреплён! Мешаются не в своё дело, а наши девушки скучают-скучают, вянут-вянут, пока не сделаются сами похожи на маменек, а маменькам то и по сердцу! Погодите! я вас!

Как бы то ни было, а наша толпа летела по проспекту и часто набегала на прохожих, которые останавливались, чтобы посмотреть на красавиц; но

¹ Руководство для разговора, составленное мадам Жанлис, стр. 375 (франц.) (Примечание В.Ф. Одоевского).

подходить к ним никто не подходил — да и как подойти? Спереди маменька, сзади маменька, в середине маменька — страшно!

Вот на Невском проспекте новоприезжий искусник выставил блестящую вывеску: сквозь окошки светятся парообразные дымки, сыплются радужные цветы, золотистый атлас льётся водопадом по бархату, и хорошенькие куколки, в пух разряженные, под хрустальными колпаками кивают головками. Вдруг наша первая пара остановилась, повернулась и прыг на чугунные ступеньки; за ней другая, потом третья, и, наконец, вся лавка наполнилась красавицами. Долго они разбирали, любовались — да и было чем: хозяин такой быстрый, с синими очками, в модном фраке, с большими бакенбардами, затянут, перетянут, чуть не ломается; он и говорит и продаёт, хвалит и бранит, и деньги берёт и отмеривает; беспрестанно он расстилает и расставляет перед моими красавицами: то газ из паутины с насыпью бабочкиных крылышек; то часы, которые укладывались на булавочной головке; то лорнет из мушиных глаз, в который в одно мгновение можно было видеть всё, что кругом делается; то блонду, которая таяла от прикосновения; то башмаки, сделанные из стрекозиной лапки; то перья, сплетённые из пчелиной шёрстки; то, увы! румяна, которые от духу налетали на щечку. Наши красавицы целый бы век остались в этой лавке, если бы не маменьки! Маменьки догадались, махнули чепчиками, повертели налево кругом и, вышедши на ступеньки, благоразумно принялись считать, чтобы увериться, все ли красавицы выйдут из лавки; но по несчастию (говорят, ворона умеет считать только до четырёх), наши маменьки умели считать только до десяти: не мудрено же, что они обочились и отправились домой с десятью девушками, наблюдая прежний порядок и благочиние, а одиннадцатую позабыли в магазине.

Едва толпа удалилась, как заморский басурманин тотчас дверь на запор и к красавице; всё с неё долой: и шляпку, и башмаки, и чулочки, оставил только, окаянный, юбку да кофточку; схватил несчастную за косу, поставил на полку и покрыл хрустальным колпаком.

Сам же за перочинный ножичек, шляпку в руки и с чрезвычайным проворством ну с неё срезывать пыль, налетевшую с мостовой; резал, резал, и у него в руках очутились две шляпки, из которых одна чуть было не взлетела на воздух, когда он надел её на столбик; потом он так же осторожно срезал тиснёные цветы на материи, из которой была сделана шляпка, и у него сделалась ещё шляпка; потом ещё раз — и вышла четвертая шляпка, на которой был только оттиск от цветов; потом ещё — и вышла пятая шляпка

простенькая; потом ещё, ещё — и всего набралось у него двенадцать шляпок; то же, окаянный, сделал и с платицем, и с шалью, и с башмачками, и с чулочками, и вышло у него каждой вещи по дюжине, которые он бережно уклад в картон с иностранными клеймами... и всё это, уверяю вас, он сделал в несколько минут.

— Не плачь, красавица, — приговаривал он изломанным русским языком, — не плачь! тебе же годится на приданое!

Когда он кончил свою работу, тогда прибавил:

— Теперь и твоя очередь, красавица!

С сими словами он махнул рукою, топнул; на всех часах пробило тринадцать часов, все колокольчики зазвенели, все органа заиграли, все куклы запрыгали, и из банки с пудрой выскочила безмозглая французская голова; из банки с табаком чуткий немецкий нос с ослиными ушами; а из бутылки с содовою водою туго набитый английский живот. Все эти почтенные господа уселись в кружок и выпучили глаза на волшебника.

— Горе! — вскричал чародей.

— Да, горе! — отвечала безмозглая французская голова, — пудра вышла из моды!

— Не в том дело, — проворчал английский живот, — меня, словно пустой мешок, за порог выкидывают!

— Ещё хуже, — просопел немецкий нос, — на меня верхом садятся, да ещё пришпоривают.

— Всё не то! — возразил чародей, — всё не то! ещё хуже; русские девушки не хотят больше быть заморскими куклами! вот настоящее горе! продолжись оно — и русские подумают, что они в самом деле такие же люди.

— Горе! горе! — закричали в один голос все басурмане.

— Надобно для них выдумать новую шляпку, — говорила голова.

— Внушить им правила нашей нравственности, — толковал живот.

— Выдать их замуж за нашего брата, — твердил чуткий нос.

— Всё это хорошо! — отвечал чародей, — да мало! Теперь уже не то, что было! На новое горе новое лекарство; надобно подняться на хитрости!

Думал, долго думал чародей, наконец махнул ещё рукою, и пред собранием явился треножник, мариина баня и реторта, и злодеи принялись за работу.

В реторту втиснули они множество романов мадам Жанлис, Честерфильдовы письма, несколько заплесневелых сенсаций, канву,

итальянские рулады, дюжину новых контрдансов, несколько выкладок из английской нравственной арифметики и выгнали из всего этого какую-то бесцветную и бездушную жидкость. Потом чародей отворил окошко, повёл рукою по воздуху Невского проспекта и захватил полную горсть городских сплетней, слухов и рассказов; наконец из ящика вытащил огромный пук бумаг и с дикою радостью показал его своим товарищам; то были обрезки от дипломатических писем и отрывки из письмовника, в коих содержались уверения в глубочайшем почтении и истинной преданности; всё это злодей, прыгая и хохоча, ну мешать с своим бесовским составом; французская голова раздувала огонь, немецкий нос размешивал, а английский живот, словно пест, утаптывал.

Когда жидкость простыла, чародей к красавице: вынул бедную, трепещущую, из-под стеклянного колпака и принялся из неё, злодей, вырезывать сердце! О! как страдала, как билась бедная красавица! как крепко держалась она за своё невинное, своё горячее сердце! с каким славянским мужеством противилась она басурманам. Уже они были в отчаянии, готовы отказаться от своего предприятия, но, на беду, чародей догадался, схватил какой-то маменькин чепчик, бросил на уголья — чепчик закурился, и от этого курева красавица одурела.

Злодеи воспользовались этим мгновением, вынули из неё сердце и опустили его в свой бесовский состав. Долго, долго они распаривали бедное сердце русской красавицы, вытягивали, выдували, и когда они вклеили его в своё место, то красавица позволила им делать с собою всё, что было им угодно. Окаянный басурман схватил её пухленькие щёчки, маленькие ножки, ручки и ну перочинным ножом соскребать с них свежий славянский румянец и тщательно собирать его в баночку с надписью *rouge vegetal*²; и красавица сделалась беленькая-беленькая, как кобчик; насмешливый злодей не удовольствовался этим: маленькой губкой он стёр с неё белизну и выжал в скляночку с надписью: *lait de concombres*³, и красавица сделалась жёлтая, коричневая; потом к наливной шейке он приставил пневматическую машину, повернул — и шейка опустилась и повисла на косточках; потом маленькими щипцами разинул ей ротик, схватил язычок и повернул его так, чтобы он не мог порядочно выговорить ни одного русского слова; наконец затянул её в узкий корсет, накинул на неё какую-то уродливую дымку и выставил красавицу на мороз к окошку. Засим басурмане успокоились; безмозглая

² растительные румяна (франц.).

³ огуречный сок (франц.).

французская голова с хохотом прыгнула в банку с пудрою; немецкий нос зачихал от удовольствия и убрался в бочку с табаком; английский живот молчал, но только хлопал по полу от радости и также уплёлся в бутылку с содовой водою; и всё в магазине пришло в прежний порядок, и только стало в нём одною куклою больше!

Между тем время бежит да бежит; в лавку приходят покупщики, покупают паутинный газ и мушинные глазки, любуются на куколок. Вот один молодой человек посмотрел на нашу красавицу, задумался, и, как ни смеялись над ним товарищи, купил её и принёс к себе в дом. Он был человек одинокий, нрава тихого, не любил ни шума, ни крика; он поставил куклу на видном месте, одел её, обул её, целовал её ножки и любовался ею, как ребёнок. Но кукла скоро почуяла русский дух: ей понравились его гостеприимство и добродушие. Однажды, когда молодой человек задумался, ей показалось, что он забыл о ней, она зашевелилась, залепетала; удивлённый, он подошёл к ней, снял хрустальный колпак, посмотрел: его красавица кукла куклою. Он приписал это действию воображения и снова задумался, замечтался; кукла рассердилась: ну опять шевелиться, прыгать, кричать, стучать об колпак, ну так и рвётся из-под него.

— Неужеле ты в самом деле живёшь? — говорил ей молодой человек, — если ты в самом деле живая, я тебя буду любить больше души моей; ну, докажи, что ты живёшь, вымолви хотя словечко!

— Пожалуй! — сказала кукла, — я живу, право живу.

— Как! ты можешь и говорить? — воскликнул молодой человек, — о, какое счастье! Не обман ли это? дай мне ещё раз увериться, говори мне о чём-нибудь!

— Да об чём мы будем говорить?

— Как о чём? на свете есть добро, есть искусство!..

— Какая мне нужда до них! — отвечала кукла, — это всё очень скучно!

— Что это значит? Как скучно? Разве до тебя ещё никогда не доходило, что есть на свете мысли, чувства?..

— А, чувства! чувства? знаю, — скоро проговорила кукла, — чувства почтения и преданности, с которыми честь имею быть, милостливый государь, вам покорная ко услугам...

— Ты ошибаешься, моя красавица; ты смешиваешь условные фразы, которые каждый день переменяются, с тем, что составляет вечное незыблемое украшение человека.

— Знаешь ли, что говорят? — прервала его красавица, — одна девушка вышла замуж, но за ней волочится другой, и она хочет развестися. Как не стыдно!

— Что тебе нужды до этого, моя милая? подумай лучше о том, как многого ты на свете не знаешь; ты даже не знаешь того чувства, которое должно составлять жизнь женщины; это святое чувство, которое называют любовью; которое проникает всё существо человека; им живёт душа его, оно порождает рай и ад на земле.

— Когда на бале много танцуют, то бывает весело, когда мало, так скучно, — отвечала кукла.

— Ах, лучше бы ты не говорила! — вскричал молодой человек, — ты не понимаешь меня, моя красавица!

И тщетно он хотел её образумить: приносил ли он ей книги — книги оставались неразрезанными; говорил ли ей о музыке души — она отвечала ему итальянскою руладою; показывал ли картину славного мастера — красавица показывала ему канву.

И молодой человек решился каждое утро и вечер подходить к хрустальному колпаку и говорить кукле: «Есть на свете добро, есть любовь; читай, учись, мечтай, исчезай в музыке; не в светских фразах, но в душе чувства и мысли».

Кукла молчала.

Однажды кукла задумалась, и думала долго. Молодой человек был в восхищении, как вдруг она сказала ему:

— Ну, теперь знаю, знаю; есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь — не в светских фразах, но в душе чувства и мысли. Примите, милостивый государь, уверения в чувствах моей истинной добродетели и пламенной любви, с которыми честь имею быть...

— О! перестань, Бога ради, — вскричал молодой человек, — если ты не знаешь ни добродетели, ни любви, — то по крайней мере не унижай их, соединяя с поддельными, глупыми фразами...

— Как не знаю! — вскричала с гневом кукла, — на тебя никак не угодишь, неблагодарный! Нет, — я знаю, очень знаю: есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь, как равно и почтение, с коими честь имею быть...

Молодой человек был в отчаянии. Между тем кукла была очень рада своему новому приобретению; не проходило часа, чтоб она не кричала: *«Есть добродетель, есть любовь, есть искусство»*, — и не примешивала к

своим словам уверений в глубочайшем почтении; идёт ли снег — кукла твердит: «*Есть добродетель!*» — принесут ли обедать — она кричит: «*Есть любовь!*» — и вскоре дошло до того, что это слово опротивело молодому человеку. Что он ни делал: говорил ли с восторгом и умилением, доказывал ли хладнокровно, бесился ли, насмехался ли над красавицею — всё она никак не могла постигнуть, какое различие между затверженными ею словами и обыкновенными светскими фразами; никак не могла постигнуть, что любовь и добродетель годятся на что-нибудь другое, кроме письменного окончания.

И часто восклицал молодой человек: «Ах, лучше бы ты не говорила!»

Наконец он сказал ей:

— Я вижу, что мне не вразумить тебя, что ты не можешь к заветным, святым словам добра, любви и искусства присоединить другого смысла, кроме почтения и преданности... Как быть! Горько мне, но я не виню тебя в этом. Слушай же, всякий на сём свете должен что-нибудь делать; не можешь ты ни мыслить, ни чувствовать; не перелить мне своей души в тебя; так занимайся хозяйством по старинному русскому обычаю, — смотри за столом, своди счёты, будь мне во всем покорна; когда меня избавишь от механических занятий жизни, я — правда, не столько тебя буду любить, сколько любил бы тогда, когда бы души наши сливались, — но всё любить тебя буду.

— Что я за ключница? — закричала кукла, рассердилась и заплакала, — разве ты затем купил меня? Купил — так лелей, одевай, утешай. Что мне за дело до твоей души и до твоего хозяйства! Видишь, я верна тебе, я не бегу от тебя, — так будь же за то благодарен, мои ручки и ножки слабы; я хочу и люблю ничего не делать, не думать, не чувствовать, не хозяйничать, — а твоё дело забавлять меня.

И в самом деле, так было. Когда молодой человек занимался своею куклою, когда одевал, раздевал её, когда целовал её ножки — кукла была и смирна и добра, хоть и ничего не говорила; но если он забудет переменить её шляпку, если задумается, если отведет от неё глаза, кукла так начнет стучать о свой хрустальный колпак, что хоть вон беги. Наконец не стало ему терпения: возьмёт ли он книгу, сядет ли обедать, ляжет ли на диван отдохнуть, — кукла стучит и кричит, как живая, и не даёт ему покоя ни днем, ни ночью; и стала его жизнь — не жизнь, но ад. Вот молодой человек рассердился; несчастный не знал страдания, которое вынесла бедная красавица; не знал, как крепко она держалась за врождённое ей природою сердце, с какой болью отдала его своим мучителям, или учителям, — и

однажды спросонья он выкинул куклу за окошко; за то все проходящие его осуждали, однако же куклу никто не поднял.

А кто всему виною? сперва басурмане, которые портят наших красавиц, а потом маменьки, которые не умеют считать дальше десяти. Вот вам и нравоучение.

Мыслящие люди не обвинят автора в квасном патриотизме за эту шутку. Кто понимает цену западного просвещения, тому понятны и его злоупотребления. (*Прим. В.Ф.Одоевского.*)

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

9 класс

2 тур

Сопоставительный анализ стихотворений

Е.А. Баратынский

Разуверение

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.
<1821>

Д.В. Давыдов

Романс

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений
И мимолётных сновидений
Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,
Которой память — мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.

Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволие,
Чем ложное холонокровье,
Чем мой обманчивый покой.

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

9 класс

3 тур

1. Определите, из каких произведений взяты следующие отрывки (необходимо назвать автора и произведение).

Максимально возможный балл - 5

А. Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало ещё угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений своё окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестрёнка ещё не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

Б. Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперёк меня улёгся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосёнки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

В. После родителей всё их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросёнок Хрен.

Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны!

Г. Мальчишка силился от него отделаться. Он был по-видимому двумя годами старше ... и гораздо его сильнее, но ... был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил ... на землю и схватил его за горло.

Д. На террасу из внутренних комнат выскочил, как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в лёгком матросском костюмчике, с обнажёнными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало ещё шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесунчевой паре и в золотых очках.

2. Соотнесите имена русских писателей и названия мест, где существуют их музеи.

Максимально возможный балл – 5

Н.М. Карамзин	Захарово
А.С. Грибоедов	Середниково
А.С. Пушкин	Хмелита
Н.В. Гоголь	Сорочинцы
М.Ю. Лермонтов	Ульяновск (Симбирск)

3. Дайте историко-литературный комментарий следующему стихотворению.

Максимально возможный балл – 13

М.А. Кузмин

Лермонтову

С одной мечтой в упрямом взоре,
На Божьем свете не жилец,
Ты сам – и Демон, и Печорин,
И беглый, горестный чернец.

Ты с малых лет стоял у двери,
Твердя: «Нет, нет, я ухожу».
Стремясь и к первобытной вере,
И к романтическому ножу.

К земле и людям равнодушен,
Привязан к выбранной судьбе,
Одной тоске своей послушен,
Ты миру чужд, и мир – тебе.

Ты страсть мечтал необычайной,
Но ах, как прост о ней рассказ!
Пленился ты Кавказа тайной, –
Могилой стал тебе Кавказ.

И Божьи радости мелькнули,
Как сон, как снежная метель...
Ты выбираешь – что? две пули
Да пошловатую дуэль.

Поклонник демонского жара,
Ты детский вызов слал Творцу
Россия, милая Тамара,
Не верь печальному певцу.

В лазури бледной он узнает,
Что был лишь начат долгий путь.
Ведь часто и дитя кусает
Кормящую его же грудь.
1916

4. Черты какого литературного направления (течения) присутствуют в данном отрывке? Обоснуйте свою точку зрения, опираясь на текст.

Максимально возможный балл – 7

Тихий и прохладный вечер заступал уже место палящего дня, когда Усад, молодой певец, приблизился к берегам Москвы-реки, на которых провёл он дни своей цветущей юности. Гладкая поверхность вод, тихо лобзаемая лёгким ветерком, покрыта была розовым сиянием заката: в зеркале их отражались с одной стороны дремучий лес... с другой –

зелёные берега, покрытые кустарником и осыпанные низкими хижинами земледельцев. Повсюду царствовало спокойствие; воздух был растворён благоуханием цветущей липы: иногда в глубине леса раздавался голос соловья или печальное пение иволги; иногда непостоянный ветерок потрясал вершины деревьев; иногда робкий кролик, испуганный шорохом, бросался в кустарник и шумел иссохшими ветками. Услад шёл по тропинке, извивавшейся между деревьями; душа его, наполненная воспоминаниями, погружена была в задумчивость. Время прошедшее, время, в которое находил он себя счастливым, представилось мыслям его со всем минувшим своим очарованием. «Где ты, моя радость? – воскликнул печальный Услад, – где ты, прежнее время? Прихожу на то же место, на котором некогда называл я жизнь свою веселием: тенистая роща, светлая река, зелёные берега, вы не изменились; но, счастье моё, тебя уже нет. По-прежнему благовонная липа разливает свой сладостный запах, по-прежнему звонкий соловей или пустынная иволга поют в глубине дремучего леса; а тот, кто некогда услаждался благовонием цветущей липы или, задумавшись, при гласе звонкого соловья и стоне пустынной иволги живее мечтал о своём счастье, тот уже не похож на самого себя. Ах! не узнаете вы меня, места прелестные; очи мои потускли от скорби, ланиты мои побледнели, лицо моё омрачилось унынием...»

5. Представьте проект литературного журнала первой половины XIX века: предложите его название, список рубрик, будущих авторов и напишите обращение к читателям от имени главного редактора. Журнал не должен повторять существовавшие в то время периодические издания.

Максимально возможный балл – 20

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

10 класс

1 тур

Комплексный анализ прозаического произведения

Н.С. Лесков

Дурачок

Рассказ

Кого надо считать дураком? Кажется, будто это всякий знает, а если начать сверять, как кто это понимает, то и выйдет, что все понимают о дураке неодинаково. По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении, изъяснено так, что «дурак – слабоумный человек, глупый, лишённый рассудка, безумный, шут...». В подкрепление такого толкования приведён словесный пример: «Он был и будет дурак дураком». «Дурачок – смягчение слова дурак». Учёнее этого объяснения уже и искать нечего, а между тем в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они, между тем, не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют... Это люди любопытные, и про одного такого я здесь и расскажу.

Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик Панька. Рос он при господском дворе, ходил в том, что ему давали, а ел на застольщине вместе с коровницею и с ее детьми. Должность у него была такая, чтобы «всем помогать»; это значило, что все должностные люди в усадьбе имели право заставляя Паньку делать за них всякую работу, и он, бывало, беспрестанно работает. Как сейчас его помню: бывало, зимою, – у нас зимы бывают лютые, – когда мы встанем и подбежим к окнам, Панька уже везёт на себе, изогнувшись, большие салазки с вязанками сена, соломы и с плетушками колоса и другого мелкого корма для скотины и птиц. Мы встаём, а он уже наработался, и редко увидишь его, что он присядет в скотной избе и ест краюшку хлебца, а запивает водою из деревянного ковшика.

Спросишь его, бывало:

– Что ты, Паня, один сухой хлеб жуёшь?

А он шутя отвечает:

– Как так «с ухой»? – он, гляди-ко, с чистой водицею.

– А ты бы ещё чего-нибудь попросил: капустки, огурца или картошечки!

А Паня головой мотнет и отвечает:

– Ну, вот ещё чего!.. Я и так наелся, – слава те Господи!

Подпояшется и опять на двор идёт таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не переводилась, потому что все его заставляли помогать себе. Он и конюшни, и хлева чистил, и скоту корм задавал, и овец на водопой гонял, а вечером, бывало, ещё себе и другим лапти плетёт, и ложился он, бывало, позже всех, а вставал раньше всех до света и одет был всегда очень плохо и скаречно. И его, бывало, никто и не жалеет, а все говорят:

– Ему ведь ничего, – он дурачок.

– А чем же он дурачок?

– Да всем...

– А например?

– Да что за пример! – вон коровница-то все огурцы и картошки своим детям отдает, а он, хоть бы что ему... и не просит у них, и на них не жалуется. Дурак!

Мы, дети, не могли хорошо в этом разобраться, и хоть глупостей от Паньки не слышали, и даже видели от него ласку, потому что он делал нам игрушечные мельницы и тузочки из бересты, – однако и мы, как все в доме, одинаково говорили, что Панька дурачок, и никто против этого не спорил, а скоро вышел такой случай, что об этом уже и нельзя стало спорить.

Был у нас нанят строгий-престрогий управитель, и любил он за всякую вину человека наказывать. Едет, бывало, на беговых дрожках и по всем сторонам смотрит: нет ли где какой неисправности? И если заметит что-нибудь в беспорядке – сейчас же остановится, подзовёт виноватого и приказывает:

– Ступай сейчас в контору и скажи моим именем старосте, чтобы дали тебе двадцать пять розог; а если слукавишь – я тебе вечером при себе велю вдвое дать.

Прощенья у него уж и не смели просить, потому что он этого терпеть не мог и ещё прибавлял наказание.

Вот раз летом, едет этот управляющий и видит, что в молодых хлебах жеребята ходят и не столько зелени рвут, сколько её топчут и копытами с корнями выколупывают...

Управитель и расшумелся.

А жеребят в этот год был приставлен стеречь мальчик Петруша, – сын той самой Арины-коровницы, которая Паньке картошек жалела, а всё своим детям отдавала. Петруша этот имел в ту пору лет двенадцать и был телом много помельче Паньки и понежнее, за это его и дразнили «творожничком» – словом, он был мальчик у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкий. Выгнал он жеребят рано утром «на росу», и стало его знобить, а он сел да укрылся свиткою, и как согрелся, то на него нашёл сон – он и заснул, а жеребятки в это время в хлеб и взошли.

Управитель, как увидал это, так сейчас стегнул Петю и говорит:

– Пусть Панька пока и за своим, и за твоим делом посмотрит, а ты сейчас иди в разрядную контору и скажи выборному, чтобы он тебе двадцать розог дал; а если это до моего возвращения домой не исполнишь, то я при себе тогда тебе вдвое дам. Сказал это и уехал.

А Петруша так и залился слезами. Весь трясётся, потому что никогда его ещё розгами не наказывали, и говорит он Паньке:

– Брат милый, Панюшка, очень страшно мне... скажи, как мне быть?

А Панька его по головке погладил и говорит:

– И мне тоже страшно было... Что с этим делать-то... Христа били...

А Петруша ещё горче плачет и говорит:

– Боюсь я идти и боюсь не идти... Лучше я в воду кинуся. А Панька его уговаривал-уговаривал, а потом сказал:

– Ну, стой же ты: оставайся здесь и смотри за моим и за своим делом, а я скорей сбегаю, за тебя постараюсь, – авось тебя Бог помилует. Видишь, ты трус какой.

Петруша спрашивает:

– А как же ты, Панюшка, постарайся?

– Да уж я штуку выдумал – постараюсь! И побежал Панька через поле к усадьбе резвенько, а через час назад идёт, улыбается.

– Не робей, – говорит, – Петька, всё сделано; и не ходи никуда – с тебя наказание избавлено.

Петька думает:

«Всё равно: надо верить ему», – и не пошёл; а вечером управляющий спрашивает у выборного в разрядной избе:

– Что, пастушонок утром приходил сечься?

– Как же, – говорит, – приходил, ваша милость.

– Взбрызнули его?

– Да, – говорит, – взбрызнули.

– И хорошо?

– Хорошо, постарались.

Дело и успокоилось, а потом узнали, что высекли-то пастушонка, да не того, которого было назначено, не Петра, а Паньку, и пошло это по усадьбе и по деревне, и все над Панькой смеялись, а Петю уже не стали сечь.

Что же, – говорили, – уже если дурак его выручил, нехорошо двух за одну вину разом наказывать.

Ну, не дурак ли, взаправду, наш Панька был?

И так он всё и дальше жил.

Сделалась через несколько лет в Крыме война, и начали набирать рекрут. Плач по деревне пошёл: никому на войне страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьях убиваются – всякой своего сына жалко.

А Паньке в это время уже совершенные годы исполнились, и он вдруг приходит к помещику и сам просится:

– Велите, – говорит, – меня отвести в город – в солдаты отдать.

– Что же тебе за охота?

– Да так, – отвечает, – очень мне вдруг охота пришла.

– Да отчего? Ты обдумайся.

– Нет, – говорит, – некогда думать-то.

– Отчего некогда?

– Да нешто не слышно вам, что вокруг плачут, а я ведь любимый у Господа, – обо мне плакать некому, – я и хочу идти.

Его отговаривали.

– Посмотри-ка, мол, какой ты неуклюжий-то: над тобой на войне-то, пожалуй, все расхохочутся. А он отвечает:

– То и радостней: хохотать-то ведь веселее, чем ссориться; если всем весело станет, так тогда все и замирятся. Ещё раз сказали ему:

– Утешай-ка лучше сам себя да живи дома! Но он на своём твердо стоял.

– Нет, мне, – говорит, – это будет утешнее.

Его и утешили, – отвезли в город и отдали в рекруты, а когда сдатчики возвратились, – с любопытством их стали расспрашивать:

– Ну, как наш дурак остался там? Не видали ли вы его после сдачи-то?

– Как же, – говорят, – видели.

– Небось, смеются все над ним, – какой увалень?

– Да, – говорят, – на самых первых порах-то было смеялись, да он на все на два рубля, которые мы дали ему награждения, на базаре целые ночвы

пирогов с горохом и с кашей купил и всем по одному роздал, а себя позабыл... Все стали головами качать и стали ломать ему по половиночке. А он застыдился и говорит:

– Что вы, братцы, я ведь без хитрости! Кушайте. Рекрута его стали дружно похлопывать:

– Какой, мол, ты ласковый!

А наутро он раньше всех в казарме встал, да всё убрал и старым солдатам всем сапоги вычистил. Стали хвалить его, и старики у нас спрашивали: «Что он у вас дурачок, что ли?»

Сдатчики отвечали:

– Не дурак, а... малость с роду так.

Так Панька и пошёл служить со своим дурачеством и провёл всю войну в «профосах» – за всеми позади рвы копал да пакость закапывал, а как вышел в отставку, так, по привычке к пастушеству, нанялся у степных татар конские табуны пасти.

Отправился он к татарам из Пензы и не бывал назад много лет, а скитался, гоняя коней, где-то вдаль, около безводных Рын-Песков, где тогда кочевал большой местный богач Хан-Джангар. А Хан-Джангар, когда приезжал на Суру лошадей продавать, то на тот час держал себя будто и покорно, но у себя в степи что хотел, то и делал; кого хотел – казнил, кого хотел – того миловал.

За отдалённостью дикой пустыни следить за ним было невозможно, и он как хотел, так и своевольничал. Но расправлялся он так не один: находились и другие такие же самоуправцы, и в числе их появился один лихой вор, по имени Хабибула, и стал он угонять у Хана-Джангара много самых лучших лошадей, и долго никак его не могли поймать. Но вот раз сделалась у одних и других татар свалка, и Хабибулу ранили и схватили. А время было такое, что Хан-Джангар спешил в Пензу, и ему никак нельзя было остановиться и сделать над Хабибулой суд и казнить его такою страшною казнью, чтобы навести страх и ужас на других воров.

Чтобы не опоздать в Пензу на ярмарку и не показаться с Хабибулой в таких местах, где русские власти есть, Хан-Джангар и решил оставить при малом и скудном источнике Паньку с одним конём и раненого Хабибулу, окованного в конских железках. И оставил им пшена и бурдюк воды и наказал Паньке настрого:

– Береги этого человека как свою душу! Понял?

Панька говорит:

– Чего ж не понять-то! Вполне понял, и как ты сказал, я так точно и сделаю.

Хан-Джангар со всей своей ордой и уехал, а Панька стал говорить Хабибуле:

– Вот до чего тебя твоё воровство довело! Такой ты большой молодец, а всё твоё молодечество не к добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился.

А Хабибула ему отвечает:

– Если я до сих пор не исправился, так теперь уж и некогда.

– Как это «некогда»? Только в том ведь и дело всё, чтобы хорошо захотеть человеку исправиться, а остальное всё само придёт... В тебе ведь душа такая же, как и во всех людях: брось дурное, а Бог тебе сейчас зачнет помогать делать хорошее, вот и пойдёт всё хорошее.

А Хабибула слушает и вздыхает.

– Нет, – говорит, – уже про это нехстати и думать теперь!

– Да отчего же нехстати-то?

– Да оттого, что я окован и смерти жду.

– А я тебя возьму да и выпущу.

Хабибула ушам своим не поверил, а Панька ему улыбается ласково и говорит:

– Я тебе не шучу, а правду говорю. Хан мне сказал, чтобы я тебя «как свою душу берёг», а ведь знаешь ли, как надо сберечь душу-то? Надо, брат, её не жалеть, а пусть её за другого пострадает – вот мне теперь это и надобно, потому что я терпеть не могу, когда других мучают. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай себя, где надеешься, а если станешь опять зло творить – ну, уж тогда не меня обманешь, а Господа.

И с этим присел и сломал на Хабибуле конские железные путы, и посадил его на коня, и сказал:

– Ступай с миром на все стороны.

А сам остался ожидать здесь возвращения Хана-Джангара, – и ждал его очень долго, пока ручеек высох и в бурдюке воды осталось очень немножечко.

Тогда и прибыл Хан-Джангар со своей свитой.

Осмотрелся Хан и спрашивает:

– А где Хабибула?

Панька отвечает:

– Я отпустил его.

– Как отпустил? Что ты такое рассказываешь?

– Я тебе говорю то, что взаправду сделал по твоему велению и по своему хотению. Ты мне велел беречь его как свою душу, а я свою душу так берегу, что желаю пустить её помучиться за ближнего... Ты ведь хотел замучить Хабибулу, а я терпеть не могу, чтобы других мучили, – вот возьми меня и вели меня вместо его мучить, – пусть моя душа будет счастливая и от всех страхов свободная, потому что ведь я ни тебя, ни других никого не боюсь ни капельки.

Тут Хан-Джангар стал водить глазами во все стороны, а потом на голове тюбетейку поправил и говорит своим:

– Подойдите-ка все поближе ко мне; я вам скажу, что мне кажется.

Татары вокруг Хана-Джангара стеснились. А он сказал им потихонечку:

– А ведь Паньку, сдаётся, нельзя казнить, потому что в душе его, может быть, ангел был...

– Да, – отвечали татары все одним тихим голосом, – нельзя нам ему вредить: мы его не поняли за много лет, а теперь он в одно мгновенье всем нам ясен стал: он ведь, может быть, праведный.

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

10 класс

2 тур

Сопоставительный анализ стихотворений

Н.А. Некрасов

*** * ***

Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;

Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе –
Сей пытки творческого духа;

Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.

Дивясь великому уму,
Его не гонят, не злословят,
И современники ему
При жизни памятник готовят...

Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Её страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь,

Уста вооружив сатирой,
 Проходит он тернистый путь
 С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
 Он ловит звуки одобренья
 Не в сладком ропоте хвалы,
 А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
 Мечте высокого призванья,
 Он проповедует любовь
 Враждебным словом отрицанья, –

И каждый звук его речей
 Плодит ему врагов суровых,
 И умных и пустых людей,
 Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут
 И, только труп его увидя,
 Как много сделал он, поймут,
 И как любил он – ненавидя!
21 февраля 1852, в день смерти Гоголя

Я.П. Полонский

* * *

Блажен озлобленный поэт,
 Будь он хоть нравственный калека,
 Ему венцы, ему привет
 Детей озлобленного века.

Он как титан колеблет тьму,
 Ища то выхода, то света,
 Не людям верит он – уму,
 И от богов не ждет ответа.

Своим пророческим стихом
Тревожа сон мужей солидных,
Он сам страдает под ярмом
Противоречий очевидных.

Всем пылом сердца своего
Любя, он маски не выносит
И покупного ничего
В замену счастья не просит.

Яд в глубине его страстей,
Спасенье – в силе отрицанья,
В любви – зародыши идей,
В идеях – выход из страданья.

Невольный крик его – наш крик.
Его пороки – наши, наши!
Он с нами пьёт из общей чаши,
Как мы отравлен – и велик.
1872

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

10 класс

3 тур

1. Определите, из каких произведений взяты следующие отрывки (необходимо назвать автора и произведение).

Максимально возможный балл – 5

А. А мне в ту пору, как я на фореиторскую подседельную сел, было ещё всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских фореиторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «ддиди-и-и-тт-ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своём силами я ещё не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня ещё приседывали к лошади, то есть к седлу и подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а всё в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придёшь.

Б. Памяти, памяти у меня нет, я бы вспомнила! Не «Гусара же на саблю опираясь» петь, в самом деле! Ах, споёмте по-французски «Cinq sous!» Я ведь вас учила же, учила же. И главное, так как это по-французски, то увидят тотчас, что вы дворянские дети, и это будет гораздо трогательнее... Можно бы даже: «Malborough s'en va-t-en guerre», так как это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей.

В. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с весёлым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Лёгкая пыль жёлтым столбом поднимается и несётся по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, наострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве.

Г. Какой он хорошенький, красненький, полный! Щёчки такие кругленькие, что иной шалун надуетя нарочно, а таких не сделает.

Няня ждёт его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не даётся, шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут.

Наконец удалось ей поднять его на ноги; она умывает его, причёсывает головку и ведёт к матери.

Д. «Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Он очень хорошо видит, что разбудил и напугал меня, но высказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!»

2. Соотнесите имена русских писателей и названия мест, где существуют их музеи.

Максимально возможный балл – 5

Ф.М. Достоевский	Таганрог
Ф.И. Тютчев	Даровое
Н.А. Некрасов	Карабиха
А.Н. Островский	Овстуг
А.П. Чехов	Щелыково

3. Дайте историко-литературный комментарий следующему стихотворению.

Максимально возможный балл – 13

П.А. Вяземский

Хлестаков

Нет, Хлестаков ещё не умер:
Вам стоит заглянуть в любой
«Московских ведомостей» номер,
И он очутится живой.

Всё тем же хлещет самохвальством,
Пьянея сам от самохвальств;

Запанибрата он с начальством,
И сам начальство всех начальств.

Его и министерства просят,
Чтоб он вступился в их дела.
Ему и адреса подносят,
И нет тем адресам числа.

Патриотизма мы не знали,
Его он первый изобрел.
Все крепким сном в России спали,
Но разбудить он нас умел.

Им писан «Юрий Милославский»,
Он «Россиаду» сочинил;
Наитьем тайным в день Полтавский
Бить шведов он Петра учил.

В двенадцатом году французов
Кто отщелкал без дальних слов?
Пожалуй, скажете, Кутузов?
Ан нет, всё тот же Хлестаков.

Кто, в данный час, депешей меткой,
Не в бровь, а в глаз колол врагов?
Что за вопрос? Своею меткой
Их обозначил Хлестаков.

До наших дней, начать с Батые,
От вражьих сил он нас спасал:
А потому и есть Россия,
Что он её застраховал.

Лишь погрозится он мизинцем:
Шедоферотти и Мазад,
Поляк с ост-зейцем и грузинцем
Пред ним с стыдом бегут назад.

Всё знает, всех всему он учит.
Кого не взлюбит — страшен он;
Когда листок его получит,
Бледнеет сам Наполеон.

Всё это вздор, но вот что горе:
Бобчинских и Добчинских род,
С тупою верою во взоре,
Стоят пред ним, разинув рот,

Развеса уши, и внимают
Его хвастливой болтовне,
И в нём России величают
Спасителя внутри и вне.

О Гоголь, Гоголь, где ты? Снова
Примись за мастерскую кисть
И, обновляя Хлестакова,
Скажи да будет смех, и бысть!

Смотри, что за балясы точит,
Как разыгрался в нём задор:
Теперь он не уезд морочит,
А Всероссийский ревизор.

<1866>

4. Черты какого литературного направления (течения) присутствуют в данном отрывке? Обоснуйте свою точку зрения, опираясь на текст.

Максимально возможный балл – 7

Любезный друг! Вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава Богу, отделены от нас тёмной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится её поднять! Ужас, отчаянье, сумасшествие будут наградой его любопытства. Да, любезный

друг, я тоже молод, но волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет сделался стариком – я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным; но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась противоположность мира, тогда передо мною открывшегося, с холодной прозою мира настоящего; но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актёров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда я затеял ночевать в villa Urgina, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если моё несчастье послужит уроком для других, то это мне будет утешением и пребывание моё в доме дон Пьетро принесёт хотя какую-нибудь пользу.

5. *Представьте себя в роли цензора и напишите от его лица цензурное заключение (запрещение или одобрение с обоснованием) на одно из произведений русской литературы второй половины XIX века.*

Максимально возможный балл – 20

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

11 класс

1 тур

Комплексный анализ прозаического произведения

Е.И. Замятин

Мамай

По вечерам и по ночам – домов в Петербурге больше нет: есть шестиэтажные каменные корабли. Одиноким шестиэтажным миром несётся корабль по каменным волнам среди других одиноких шестиэтажных миров; огнями бесчисленных кают сверкает корабль в разбунтовавшийся каменный океан улиц. И, конечно, в каютах не жильцы: там – пассажиры. По-корабельному просто все незнакомо-знакомы друг с другом, все – граждане осаждённой ночным океаном шестиэтажной республики.

Пассажиры каменного корабля № 40 по вечерам неслись в той части петербургского океана, что обозначена на карте под именем Лахтинской улицы. Осип, бывший швейцар, а ныне – гражданин Малафеев, стоял у парадного трапа и сквозь очки глядел туда, во тьму: изредка волнами ещё прибывало одного, другого. Мокрых, засыпанных снегом, вытаскивал их из тьмы гражданин Малафеев и, передвигая очки на носу, – регулировал для каждого уровень почтения: бассейн, откуда изливалось почтение, сложным механизмом был связан очками.

Вот – очки на кончике носа, как у строгого педагога: это Петру Петровичу Мамаю.

– Вас, Петр Петрович, супруга дожидает обедать. Сюда приходили, очень расстроенные. Как же это вы поздно так?

Затем очки плотно, оборонительно уселись в седле: тот, носатый из двадцать пятого – на автомобиле. С носатым – очень затруднительно: «господином» его нельзя, «товарищем» – будто неловко. Как бы это так, чтобы оно...

– А, господин-товарищ Мыльник! Погодка-то, господин-товарищ Мыльник... затруднительная...

И, наконец – очки навверх, на лоб: на борт корабля «ступал» Елисей Елисеич.

– Ну, слава Богу! Благополучно? В шубе-то вы, не боитесь – снимут?

Позвольте – обтряхну...

Елисей Елисеич – капитан корабля: уполномоченный дома. И Елисей Елисеич – один из тех сумрачных Атласов, что, согнувшись, страдальчески сморщившись, семьдесят лет несут по Миллионной карниз Эрмитажа.

Сегодня карниз был, явно, ещё тяжелее, чем всегда. Елисей Елисеич задыхался:

– По всем квартирам... Скорее... На собрание... В клуб...

– Батюшки! Елисей Елисеич, или опять что... затруднительное?

Но ответа не нужно: только взглянуть на страдальчески сморщенный лоб, на придавленные тяжестью плечи. И гражданин Малафеев, виртуозно управляя очками, побежал по квартирам. Набатный его стук у двери – был как труба архангела: замерзали объятия, неподвижными пушечными дымками застывали ссоры, на пути ко рту останавливалась ложка с супом.

Суп ел Пётр Петрович Мамай. Или точнее: его строжайше кормила супруга. Восседавая на кресле величественно, милостиво, многогрудно, буддоподобно – она кормила земного человечка созданным ею супом:

– Ну, скорей же, Петенька, суп остынет. Сколько раз говорить: я не люблю, когда за обедом с книгой...

– Ну, Аленька – ну, я сейчас – ну, сейчас... Ведь шестое издание! Ты понимаешь: «Душенька» Богдановича – шестое издание! В двенадцатом году при французах всё целиком сгорело, и все думали – уцелело только три экземпляра... А вот – четвёртый: понимаешь? Я на Загородном вчера нашёл...

Мамай 1917 года – завоевывал книги. Десятилетним вихрастым мальчиком он учил закон Божий, радовался перьям, и его кормила мать; сорокалетним лысеньким мальчиком – он служил в страховом обществе, радовался книгам, и его кормила супруга.

Ложка супу – жертвоприношение Будде – и снова земной человек суетно забыл о провидении в обручальном кольце – и нежно гладил, ощупывал каждую букву. «В точности против первого издания... С одобрения Ценсурного Комитета»... Ну, до чего приятное, до чего умильное *т* на трёх толстеньких ножках...

– Ну, Петенька, да что это? Кричу-кричу, а ты с своей книгой... Оглох, что ли: стучат.

Пётр Петрович – со всех ног в переднюю. В дверях – очки на кончике носа:

– Елисей Елисеич велели – чтоб на собрание. Скорее.

– Ну вот, только за книгу сядешь... Ну, что ещё такое? – у лысенького мальчика в голосе слёзы.

– Не могу знать. А только чтоб скорее... – Дверь каюты захлопнулась, очки понеслись дальше...

На корабле было явно неблагополучно: быть может, потерян курс; быть может, где-нибудь в днище – невидимая пробоина, и жуткий океан улиц уже грозит хлынуть внутрь. Где-то вверху, и вправо, и влево – тревожно, дробно стучат в двери кают; где-то на полутёмных площадках – потушенные, вполголоса разговоры; и топот быстро сбегающих по ступенькам подошв: вниз, в кают-компанию, в домовый клуб.

Там – оштукатуренное небо, всё в табачных грозовых тучах. Душная калориферная тишина, чуть-чуть чей-то шепот. Елисей Елисеич позвонил в колокольчик, согнулся, наморщился – слышно было в тишине, как хрустнули плечи – поднял карниз невидимого Эрмитажа и обрушил на головы, вниз:

– Господа. По достоверным сведениям – сегодня ночью обыски.

Гул, грохот стульев; чьи-то выстреленные головы, пальцы с перстнями, бородавки, бантики, баки. И на согнувшегося Атласа – ливень из табачных туч:

– Нет, позвольте! Мы обязаны...

– Как? И бумажные деньги?

– Елисей Елисеич, я предлагаю, чтобы ворота...

– В книги, самое верное – в книги...

Елисей Елисеич, согнувшись, каменно выдерживал ливень. И Осипу, не поворачивая головы (быть может, она и не могла повернуться):

– Осип, кто нынче на дворе в ночной смене?

Осипов палец медленно, среди тишины, пролагал путь по расписанию на стене: палец двигал не буквы, а тяжёлые мамаевские шкафы с книгами.

– Нынче М: гражданин Мамай, гражданин Малафеев.

– Ну вот. Возьмёте револьверы – и в случае, если без ордера...

Каменный корабль № 40 нёсся по Лахтинской улице сквозь шторм. Качало, свистело, секло снегом в сверкающие окна кают, и где-то невидимая пробоина, и неизвестно: пробьётся ли корабль сквозь ночь к утренней пристани – или пойдёт ко дну. В быстро пустеющей кают-компании пассажиры цеплялись за каменно-неподвижного капитана:

– Елисей Елисеич, а если в карманы? Ведь не будут же...

– Елисей Елисеич, а если я повешу в уборной, как пипифакс, а?

Пассажиры юркали из каюты в каюту и в каютах вели себя необычайно: лежа на полу, шарили рукою под шкафом; святотатственно заглядывали внутрь

гипсовой головы Льва Толстого; вынимали из рамы пятьдесят лет на стене безмятежно улыбающуюся бабушку.

Земной человечек Мамай – стоял лицом к лицу с Буддой и прятал глаза от всевидящего, пронизывающего трепетом ока. Руки у него были совершенно чужие, ненужные: куцые пингвиньи крылышки. Руки ему мешали уже сорок лет, и если бы не мешали сейчас – может, ему очень просто было бы сказать то, что надо сказать – и так страшно, так немыслимо...

– Не понимаю: ты-то чего струсил? Даже нос побелел! Нам-то что? Какие такие тысячи у нас?

Бог знает, если бы у Мамаю 1300 какого-то года были бы тоже чужие руки, и такая же тайна, и такая же супруга – может быть, он поступил бы так же, как Мамай 1917 года: где-то среди грозной тишины в уголку заскребла мышь – и туда со всех ног глазами кинулся Мамай 1917 года и, забившись в мышиную нору, продолжал:

– У меня... то есть – у нас... Че... четыре тысячи двести.

– Что-о? У тебя-а? Откуда?

– Я... я понемногу все время... Я боялся у тебя каждый раз...

– Что-о? Значит, крал? Значит, меня обманывал? А я-то, несчастная – я-то думала: уж мой Петенька... Несчастная!

– Я – для книг...

– Знаю я эти книги в юбках! Молчи!

Десятилетнего Мамаю мать секла только один раз в жизни: когда у только что заведённого самовара он отвернул кран – вода вытекла, всё распаялось – кран печально повис. И теперь второй раз в жизни чувствовал Мамай: голова зажата у матери под мышкой, спущены штаны – и...

И вдруг мальчишечьим хитрым нюхом Мамай учуял, как заставить забыть печально повисший кран – четыре тысячи двести. Жалостным голосом:

– Мне нынче дежурить во дворе до четырёх утра. С револьвером. И Елисей Елисеич сказал, если придут без ордера...

Мгновенно – вместо молниеносного Будды – много-грудая, сердобольная мать.

– Господи! Да что они – все с ума посошли? Это все Елисей Елисеич. Ты смотри у меня – и в самом деле не вздумай...

– Не-ет, я только так, в кармане. Разве я могу? Я и муху-то...

И правда: если Мамаю попадала муха в стакан – всегда возьмёт её осторожно, обдует и пустит – лети! Нет, это не страшно. А вот четыре тысячи двести...

И снова – Будда:

– Ну, что мне за наказание с тобой! Ну, куда ты теперь денешь эти твои краденые – нет уж, молчи, пожалуйста – краденые, да...

Книги; калоши в передней; пипифакс; самоварная труба; ватная подкладка у Мамаевой шапки; ковёр с голубым рыцарем па стене в спальне; полураскрытый мокрый от снега зонтик; небрежно брошенный на столе конверт с наклеенной маркой и чётко написанным адресом воображаемому товарищу Гольдебаеву... Нет, опасно... И, наконец, около полночи решено все построить на тончайшем психологическом расчёте: будут искать где угодно – только не на пороге, а у порога шатается вот этот квадратик паркета. Кинжальчиком для разрезывания книг искусно поднят квадратик. Краденые четыре тысячи («Нет, уж пожалуйста – пожалуйста, молчи!») завёрнуты в вощёную от бисквитов бумагу (под порогом может быть сыро) – и четыре тысячи погребены под квадратиком.

Корабль № 40 – весь как струна, на цыпочках, шёпотом. Окна лихорадочно сверкают в тёмный океан улиц, и в пятом, во втором, в третьем этаже отодвигается штора, в сверкающем окне – тёмная тень. Нет, ни зги. Впрочем, ведь там на дворе – двое, и когда начнётся – они дадут знать...

Третий час. На дворе тишина. Вокруг фонаря над воротами – белые мухи: без конца, без числа – падали, вились роем, падали, обжигались, падали вниз.

Внизу, с очками на кончике носа, философствовал гражданин Малафеев:

– Я – человек тихий, натурливый, мне затруднительно в этакой во злобе жить. Дай, думаю, в Осташков к себе съезжу. Приезжаю – международное положение – ну прямо невозможное: все друг на дружку – чисто волки. А я так не могу: я человек тихий...

В руках у тихого человека – револьвер, с шестью спрессованными в патронах смертями.

– А как же вы, Осип, на японской: убивали?

– Ну, на войне! На войне – известно.

– Ну, а как же штыком-то?

– Да как-как... Оно вроде как в арбуз: сперва туго идёт – корка, а потом – ничего, очень свободно.

У Мамаё от арбуза – мороз по спине.

– А я бы... Вот хоть бы меня самого сейчас – ни за что!

– Погодите! Приспичит – так и вы...

Тихо. Белые мухи вокруг фонаря. Вдруг издали – длинным кнутом винтовочный выстрел, и опять тихо, мухи. Слава Богу: четыре часа, нынче уже не придут. Сейчас смена – и к себе в каюту, спать...

В мамаевской спальне на стене – голубой клетчатый рыцарь замахнулся голубым мечом и застыл: перед глазами у рыцаря совершалось человеческое жертвоприношение.

На белых полотняных облаках покоилась госпожа Мамай – всеобъемлющая, многогрудая, буддоподобная. Вид её говорил: сегодня она кончила сотворение мира и признала, что всё – добро зело, даже и этот маленький человечек, несмотря на четыре тысячи двести. Маленький человечек обречённо стоял возле кровати, иззябший, с покрасневшим носиком, куцые, чужие, пингвиньи крылышки-руки.

– Ну иди уж, иди...

Голубой рыцарь зажмурил глаза: так ясно, до жути – вот сейчас перекрестится человечек, вытянет вперёд руки – и как в воду с головою – бултых!

Корабль № 40 благополучно пронёсся сквозь шторм и пристал к утренней пристани. Пассажиры торопливо вытаскивали деловые портфели, корзиночки для провизии и мимо Осиповых очков спешили на берег: корабль у пристани – только до вечера, а там – опять в океан.

Согнувшись, Елисей Елисеич пронёс мимо Осипа карниз невидимого Эрмитажа – и обрушил на Осипа сверху:

– Уж нынче ночью – обыск наверное. Так пусть все и знают.

Но до ночи – ещё жить целый день. И в странном, незнакомом городе – Петрограде – растерянно бродили пассажиры. Так чем-то похоже – и так непохоже – на Петербург, откуда отплыли уже почти год и куда едва ли когда-нибудь вернутся. Странные, намёрзшие за ночь каменноснежные волны: горы и ямы. Воины из какого-то неизвестного племени – в странных лохмотьях, оружие на верёвочках за плечами. Чужеземный обычай – ходить в гости с ночёвкой: на улицах ночью – вальтер-скоттовские роб-рои. И вот тут на Загородном – выжженные в снегу капельки крови... Нет, не Петербург!

По незнакомому Загородному потерянно бродил Мамай. Пингвиньи крылышки мешали; голова висела, как кран у распявшегося самовара; на левом стоптанном каблуке – снежный *globus hystericus*¹, мучителен каждым шагом.

¹ В буквальном смысле – медицинский термин, обозначающий невротический синдром «комка в горле».

И вдруг подернулась голова, ноги загарцевали двадцатипятилетне, на щеках – маки: из окна улыбалась Мамаю – ...

– Эй, зёва, с дороги! – навстречу, напролом краснорожие пёрли с огромными торбами.

Мамай отскочил, не отрывая глаз от окна, и чуть только пропёрли – снова к окну: оттуда ему улыбалась – ...

«Да, ради этой – и украдёшь, и обманешь, и всё».

Из окна улыбалась, раскинувшись соблазнительно, сладострастно – екатерининских времен книга: «Описательное изображение прекрасностей Санкт-Питербурха». И небрежным движением, с женским лукавством, давала заглянуть внутрь – туда, в тёплую ложбинку между двух упруго изогнутых, голубовато-мраморных страниц.

Мамай был двадцатипятилетне влюблён. Каждый день ходил на Загородный под окно и молча, глазами, пел серенады. Не спал по ночам – и хитрил сам с собой: будто оттого не спит, что под полом где-то работаетмышь. Уходил по утрам – и всякое утро тот самый паркетный квадратик на пороге колот сладким гвоздём: под квадратиком погребено было мамаево счастье, так близко, так далеко. Теперь, когда всё открылось про четыре тысячи двести, – теперь как же?

На четвёртый день, как трепыхающегося воробья – зажав сердце в кулак, Мамай вошёл в ту самую дверь на Загородном. За прилавком – седобородый, кустобровый Черномор, в плену у которого обитала она. В Мамае воскрес его воинственный предок: Мамай храбро двинулся на Черномора.

– А, господин Мамай! Давненько, давненько... У меня для вас кой-что отложено.

Зажав воробья ещё крепче, Мамай перелистывал, притворно-любовно поглаживал книги, но жил спиной: за спиной в витрине улыбалась о н а. Выбрав пожелтевший 1835 года «Телескоп», долго торговался Мамай – и безнадежно махнул рукой. Потом, лисьими кругами рыская по полкам, добрался до окна – и так, будто между прочим:

– Ну, а это сколько?

Ёк – воробей выпорхнул – держи! держи! Черномор програбил пальцами бороду:

– Да что же – для почину... с вас полтора ста.

– Гм... Пожалуй... (Ура! Колокола! Пушки!) – Что же, пожалуй... Завтра принесу деньги и заберу.

Теперь надо через самое страшное: квадратик возле порога. Ночь Мамай пёкся на углях: нужно, нельзя, можно, немыслимо, можно, нельзя, нужно...

Всеведущее, милостивое, грозное – провидение в обручальном кольце пило чай.

– Ну кушай же, Петенька. Ну что ты такой какой-то... Не спал опять?

– Да. Мы... мыши... не знаю...

– Брось платок, не крути! Что это такое в самом деле!

– Я... я не кручу...

И вот, наконец, выпит стакан: не стакан – бездонная, сорокавёдерная бочка. Будда на кухне принимала жертвоприношение от кухарки. Мамай в кабинете один.

Мамай тикнул, как часы – перед тем как пробить двенадцать. Глотнул воздуху, прислушался, на цыпочках – к письменному столу: там кинжальчик для книг. Потом в лихорадке гномиком скорчился на пороге, на лысине – ледяная роса, запустил кинжальчик под квадрат, ковырнул – и... отчаянный вопль!

На вопль Будда пригремела из кухни – и у ног увидала: тыквенная лысинка, ниже – скорченный гномик с кинжальчиком, и ещё ниже – мельчайшая бумажная труха.

– Четыре тысячи – мыши... Вон-вон она! Вон!

Жестокий, беспощадный, как Мамай 1300 какого-то года, Мамай 1917 года воспрянул с карачек – и с мечом в угол у двери: в угол забились вышарахнувшая из-под квадратика мышь. И мечом кровожадно Мамай прогвоздил врага. Арбуз: одну секунду туго – корка, потом легко – мякоть, и стоп: квадратик паркета, конец.

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

11 класс

2 тур

Сопоставительный анализ стихотворений

Л.Н. Мартынов

Народ-победитель

Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастёрки их были в пыли
И от пота ещё солонь
В эти дни бесконечной весны.

Возвращались солдаты с войны.
И прошли по Москве, точно сны, —
Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны.
В Зоопарке трубили слоны, —
Возвращались солдаты с войны!

Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы —
Москвичи, ленинградцы, донцы...
Возвращались сибиряки!

Возвращались сибиряки —
И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,
И властители мирных долин, —
Возвращался народ-исполин...

1945

М.В. Исаковский

Враги сожгли родную хату

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошёл солдат в глубоком горе
На перекрёсток двух дорог,
Нашёл солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощение,
Накрой в избе широкий стол, —
Свой день, свой праздник возвращения
К тебе я праздновать пришёл...»

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только тёплый летний ветер
Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришёл к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
1945

С.П. Гудзенко

Мы не от старости умрём, —
от старых ран умрём.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

В нём горечь, хмель и аромат
заморской стороны.
Его принёс сюда солдат,
вернувшийся с войны.

Он видел столько городов!
Старинных городов!
Он рассказать о них готов.
И даже спеть готов.

Так почему же он молчит?..
Четвёртый час молчит.
То пальцем по столу стучит,
то сапогом стучит.

А у него желанье есть.

Оно понятно вам?

Он хочет знать, что было здесь,
когда мы были там...

1946

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

11 класс

3 тур

1. Определите, из каких произведений взяты следующие отрывки (необходимо назвать автора и произведение).

Максимально возможный балл – 5

А. Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель.

Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник – «филёнщик» Горкин, сказал вчера, что масленица уйдёт – заплачет. Вот и заплакала – кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золочёный пряник «масленицы» – игрушки, принесённой вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, – пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое всё теперь, другое. <...>

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. <...>

– Вставай, милоч, не нежься... – ласково говорит он мне... – На постный рынок с тобой поедем...

Б. Почти каждый день на дворе, от полудня до вечера, играли трое мальчиков, одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту.

Я наблюдал за ними в щели забора, они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые мне игры. Нравились мне их костюмы, хорошо заботились друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал – они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колена, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил:

– Вот ус неуклюзый!..

Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы.

В. И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределённо угрожающий шёпот: «Вот, погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

–Вот черти! Чтоб им повылазило!

–Кто черти?

–Да так... Все.

Г. На нём новая длинная шинель, светло-серая, с белыми серебряными пуговицами, новый синий картуз с серебряными пальмовыми веточками над козырьком: он ещё во всем, во всем новичок! И до чего эта шинель, этот картуз, эти веточки идут к нему, – к его небесно-голубым, ясным глазкам, к его чистому, нежному личику, к новизне и свежести всего его существа, его младенчески-простодушного дыхания, его доверчивого, внимательного взгляда, ещё так недавно раскрывшегося на мир Божий, и непорочного звука голоса, почти всегда вопросительного! <...>

Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеянно крестится и кланяется в угол, потом шаркает отцу ножкой и целует его большую руку. Он счастлив, он свеж и чист, как ангел. Он кладёт в стакан целых пять кусочков сахара, съедает целый калач и опять шаркает ножкой:

– Мерси, папочка!

Д. И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал, как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? – затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда ещё не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятёрки.

2. Соотнесите имена русских писателей и названия мест, где существуют их музеи.

Максимально возможный балл – 5

А.А. Блок	Вёшенская
В.М. Шукшин	Казань
М.А. Шолохов	Шахматово
М.И. Цветаева	Сростки
М. Горький	Елабуга

3. Дайте историко-литературный комментарий следующему стихотворению.

Максимально возможный балл – 13

С.А. Есенин

На Кавказе

Издrevле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру вместо злата.

За грусть и жёлчь в своём лице
Кипенья жёлтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.

И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари,
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.

А ныне я в твою безгладь
Пришёл, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Мне всё равно! Я полон дум
О них, ушедших и великих.
Их исцелял гортанный шум
Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов
И от друзей сюда бежали,
Чтоб только слышать звон шагов
Да видеть с гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой,
Зане созрел во мне поэт
С большой эпической темой.

Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поёт о пробках в Моссельпроме.

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочёл,
И в клетке сдохла канарейка.

Других уж нечего считать,
Они под хладным солнцем зреют,
Бумаги даже замарать
И то, как надо, не умеют.

Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,

Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком,

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забить ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.

И чтоб одно в моей стране
Я мог твердить в свой час прощальный:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

Сентябрь 1924

Тифлис

- 4. Черты какого литературного направления (течения) присутствуют в данном отрывке? Обоснуйте свою точку зрения, опираясь на текст.**

Максимально возможный балл – 7

Солнцем сердце зажжено.
Солнце – к вечному стремительность.
Солнце – вечное окно
в золотую ослепительность.

Роза в золоте кудрей.
Роза нежно колыхается.
В розах золото лучей
красным жаром разливается.

В сердце бедном много зла
сожжено и перемолото.
Наши души – зеркала,
отражающие золото.

- 5. Напишите в Оргкомитет международной литературной премии представление к премии одного из современных русских писателей. Обоснуйте свою точку зрения, обращаясь к конкретным произведениям.**

Максимально возможный балл – 20